Так много доброго и восторженного сказано в адрес Никиты Михалкова по случаю юбилея, что, кажется, уже высказано всё-всё, и прибавить-то нечего. А мы и не станем. Мы поступим иначе. Мы предложим тебе, наш дорогой читатель, просто почитать. В этот раз —

главы из книги

Отец

Уникальность этого человека заключается в том, что у него было совершенно обострённое чувство справедливости. Если он понимал, что творится несправедливость, он мог полезть в любую драку, вступиться даже за совсем незнакомого человека. И ненавидел, когда его как-то хотели отблагодарить. Порою он даже не помнил того или тех, кому он помог или даже спас.

Отец вообще очень легко относился ко многому, что могло кому-то показаться очень серьёзным, жизненно важным или даже опасным. У него был великий и лёгкий талант, и Господь уберёг его от тех патовых ситуаций, когда от твоего решения зависит чья-то жизнь. Вот почему, когда раскрылись архивы КГБ и журналисты ринулись искать «компромат», они ничего, к своему разочарованию, не нашли. И в то же время отцу хватило мужества и честности, чтобы уже в 90-е годы написать в книге посетителей дома Сталина в Гори: «Я ему верил, он мне доверял». Он никогда не отрекался ни от чего, что с ним происходило в жизни, и это верный знак того, что он был перед собой честен. Отец обладал гениальным даром детского поэта, а писать для детей такие лёгкие, летящие стихи может лишь тот, кто внутри сам ребёнок…

Психологически он остался на уровне тринадцатилетнего мальчишки. Это говорила ещё мама. Дети же относятся к ровесникам не бережно и трепетно, как обычный взрослый к ребёнку, а ревниво: «Отдай! Почему ты это взял?.. Отец совершенно в этом смысле такой же — у него никогда в жизни не было с нами вот этого «мур-мур-мур», он терпеть не мог сюсюканья … Так дети могут дружно играть, а через минуту стукнуть друга по голове, но всё это не зло, спонтанно и наивно. У него и литература вся из детства: «Я уколов не боюсь, если надо, уколюсь … », «У меня опять тридцать шесть и пять … »

А эта уникальная реакция, мгновенная, летящая! ..

Его афоризмы разлетались со скоростью невероятной. Он мог в две минуты написать четверостишие по любому, причём самому внезапному, поводу. И ответы его были всегда быстрые и образные. Например, журналисты со свойственным им сарказмом, как бы «наивно» спрашивают: «Скажите, а как так получилось, что вы и при Сталине, и при Хрущёве, и при Брежневе как-то всегда в порядке? .. » Отец (без паузы): «Волга течёт при всех властях».

Я всегда говорил, что у него реакция боксёра-легковика — стремительная и резкая.

Невероятная личность. Когда его спрашивали про чью-то зависть, говорил: «Пусть лучше завидуют, чем сочувствуют». Вообще, чужая зависть сопровождала его всю жизнь. Причём, что важно, с молодых лет. А как не завидовать? Высокий, талантливый, с великолепным юмором, мощной харизмой, да ещё и происхождения знатного (хотя тогда об этом вслух не говорилось).

И всё же я поэт,
считайте не считайте.
Несите всякий бред,
читайте не читайте.
Завидуйте успехам, орденам,
Что почему-то не достались вам.
Шипите, злобствуйте,
друзей моих кляня,
Вы с ними не поссорите меня.
Я, к вашему большому сожаленью,
Не собираюсь с вами воевать.
На вашу ложь, на ваши заявленья,
На вас самих мне просто наплевать.
Я проживу положенное мне,
Стараясь не запачкаться в говне.
Когда умру, я тоже буду жить.
И вам назло Отечеству служить.

Только вдумайтесь. Эти стихи были написаны в 1944 году. Сергею Михалкову всего тридцать один год. Можно только представить себе, какая должна была вокруг него быть атмосфера, чтобы возникли такие стихи.

Но самое главное, он никогда не помнил зла. У него никогда не было желания ответить, отомстить, запомнить обиды и вернуть обидчику с лихвой. Как чужое зло, так и своё добро, сделанное другим людям, он с лёгкостью забывал.

Душа его никогда не была отягощена ни обидой, ни самолюбивым чувством удовлетворения от содеянного кому-то благодеяния. Хочу верить, что хоть часть этих качеств досталась и мне. Хотя… однажды впервые ощутив чужую зависть, я ощущаю её и по сей день в полной мере. Но пример отца меня спасает. И самое главное: Господь так управил, что я сам никогда не испытывал этого чувства к кому-либо. Это губительное, разъедающее душу чувство меня миновало.

Недаром говорит владыка Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, что зависть — это скорбь по чужой радости. Несчастнейшие люди — живущие в постоянной скорби.

В отце всегда было сильно развито ощущение самостоятельности. Он никогда не был трусом, хотя прошёл большую школу «дворцовой дипломатии». Думаю, врождённый такт и тонкость в отношениях с людьми и позволили ему прожить свою жизнь, никого никогда не подставив.

Все эти качества в сочетании с природной смекалкой позволяли ему умело убеждать в своей правоте руководство.

К примеру, русский монастырь на Афоне должен быть благодарен С.В. Михалкову за то, что не перешёл в юрисдикцию Константинопольского патриархата. Когда отец туда прибыл — первый советский человек, да ещё в таком ранге! — его встретили колокольным звоном. Там жили семь или восемь монахов, младшему из которых уже перевалило за семьдесят. Греки же спокойно ждали, когда последний из русских монахов отойдет в мир иной, чтобы занять территорию русской обители и завладеть её богатствами (одна уникальная библиотека, собираемая с древнейших времён, чего стоит!).

По приезде в Москву отец пришёл к Брежневу и рассказал ему о вымирающем русском монастыре, подводя к тому, что туда необходимо как можно скорее отправить молодых православных монахов. Поначалу отец говорил об исторических традициях, духовном наследии … А Брежнев всё не мог взять в толк, чего от него хочет поэт. Но, быстро увидев, что генсеку просто трудно вникнуть в смысл иных культурных понятий, отец резко сменил свои доводы: «Там же несметные сокровища!» И в ярких тонах живописал монастырские богатства, которые могут уйти грекам. Брежнев тут же оживился, снял телефонную трубку и дал команду — срочно организовать отправку молодых монахов в Грецию для пополнения Афонского монастыря.

Не подумайте, будто я утверждаю, что мой отец безгрешен. Вовсе нет. Но в главных, корневых вопросах по отношению к себе и к окружающему миру он был честен. И я глубоко убеждён, что это результат воспитания и происхождения, то есть осознания того, откуда он родом. Было такое понятие в XIX веке — человек с правилами. Это означало: до сих пор иду, а уж дальше — увольте. Можно во всеуслышание сказать: «Не пойду дальше», — и быть за это расстрелянным. А можно молча не пойти дальше и — остаться в живых … То есть можно добровольно встать на эшафот — такие люди у меня вызывают восхищение. И в то же время я не могу осуждать тех, кто сохранил себе жизнь, не декларируя свою точку зрения, но и не совершая зла. К таким людям принадлежал мой отец.

…

Со стороны могло казаться, что быть сыном Сергея Михалкова — молочные реки и кисельные берега. Но это приносило не одну лишь радость, но и огромные проблемы — те люди, которые не любили моего отца, но не могли до него дотянуться и сделать ему что-то дурное, вымещали свою «нелюбовь» на его детях.

В этом смысле мы с братом нахлебались… Но затем мы с отцом почти поменялись ролями. Если в детстве, отрочестве, юности мне доставалось из-за чьей-то ненависти к отцу, то затем уже ему стало доставаться из-за ненависти ко мне. Но весь этот надоедный шум, звон комариный его ничуть не волновал…

В какие-то моменты помню отца неожиданно очень жёстким по отношению ко мне. Однажды мы ехали в машине на дачу. Шёл чемпионат мира по футболу, и я торопился к телевизору. И вдруг заспорили о том о сём. Я говорю: «Да ладно тебе. "…А у Тома, а у Тома ребятишки плачут дома". Пишешь всякую ерунду … » Он остановил машину и сказал: «Между прочим, то, что я пишу, кормит тебя, твоего брата и всю семью. Выйди из машины». И, глазом не моргнув, высадил меня и уехал.

Я остался посреди дороги и пешком добирался, наверное, километров двенадцать. И, честно говоря, многое понял. Причём не испугался, что чего-то недополучу или меня накажут. Просто подумал, что это ведь чистая правда: какая тут может быть «вольная критика», если питаешься с руки того, кого ты осуждаешь? Или уходи из дома, или принимай всё как есть.

Отец никогда не давил на нас. И я должен сказать, что только теперь, вспоминая его, понимаю, что такое настоящий аристократ. Его невозмутимость, даже безропотность в приятии всевозможных проблем — принцип, по которому он жил сам и учил жить нас: «От службы не отказывайся, на службу не напрашивайся. Приятие им всего, что происходит, как данности, и неучастие в том, в чём он не желает принимать участия, и та лёгкость и свобода, с которыми он говорил и делал то, что думает, даже сейчас изумляют и восхищают.

Никакого участия в выборе моей профессии отец не принимал… Он всегда держал ту дистанцию, которая позволяла нам с братом быть самостоятельными, и вмешивался только тогда, когда понимал, что это необходимо. Он даже не знал, в какой именно из дней 1972-го меня забрали в армию, и куда я попал (так что все сплетни о том, будто он пытался отмазать меня, звонил министру обороны, лишены малейшего основания). Только получив первое письмо, которое мне разрешили после принятия присяги написать, он с удивлением узнал, что я нахожусь на Тихом океане, на Камчатке.

Несколько лет назад (а кажется, совсем недавно), когда мы всей семьей отмечали юбилей брата, папе кто-то позвонил, и он сказал: «Не могу разговаривать, тороплюсь на семидесятилетие сына». А семидесятилетний Андрон в это время сидел за праздничным столом и говорил кому-то: «Мы ждём, сейчас приедет отец… ». Это огромная редкость и большое счастье.

* * *

Я почти не читал в детстве папиных книжек. Человеку, живущему на берегу Байкала, трудно понять, что кто-то страдает от жажды …

Никогда не видел отца работающим серьёзно, академически. Он летал. Всё делалось как бы между прочим, на коленках, на салфетках. «Тс-с, папа работает!» — такого не знали в доме. Главное было другое — Союз писателей, надо куда-то пойти, выбить кому-то квартиру. А новые стихи или пьеса появлялись вдруг, словно из воздуха.

По-настоящему я оценил детские стихи отца, когда готовился к его 95-летию. Выбирал, что почитать на вечере, открыл книжку и — обалдел. Всё то, что для меня было прежде естественным и самым обычным, вдруг оказалось совершенным чудом. Вот уж поистине: что имеем, не храним, потерявши, плачем.

Я не чувствую его ухода. Хотя возможно, что моё плохое самочувствие в какие-то моменты — реакция на погоду, усталость… — связано с его отсутствием. Он был скалой, утёсом, о которые многое разбивалось. И ведь не скажу, что он меня в каких-то конкретных случаях страховал или защищал. Просто было осознание, что он рядом — старший, любимый, отец …

Встреча советского руководства с интеллигенцией

Помню «гениальную» встречу советского руководства с интеллигенцией на одной из правительственных дач, куда отец взял меня с собой …

При въезде охранник спрашивает: «Оружие есть?» Я вытаскиваю игрушечный пистолет и говорю: «Есть!» Папа, совершенно забывшись, говорит: «Ты что, ох … л?» — и я это запомнил, хотя тогда не знал, что это значит.

Мы прошли внутрь. Он подвёл меня к Хрущёву, который сидел в кресле на поляне, и сказал ему, заикаясь: «В-вот, Н-никита Сергеевич, у меня в семье свой Никита Сергеевич…» Хрущёв поцеловал меня в лоб и вообще мне понравился: такой добрый дедушка …

А потом начался сюр. Столы президиума были составлены огромной буквой «П». В центре поперечного стола стояла стойка с шестью микрофонами для председательствующего, а им, естественно, был мой тёзка. Гостей было приглашено много, поэтому часть мест оказалась за пределами шатра, натянутого над столами.

Было жарко, парило. Обед начался с приветственного слова Хрущёва. Он что-то говорил непонятное мне и неинтересное. Запомнил я только, что от нас с отцом он был, как мне показалось, очень далеко, а голос его звучал не просто рядом, а словно нисходил от всего полотняного купола огромного шатра. И ещё запомнился нескончаемый звон вилок, тарелок и рюмок, многократно усиленный стоявшими повсюду микрофонами, как, впрочем, и внятный гул застольных разговоров.

Мне было бесконечно скучно и так же бесконечно жаль отобранного охраной деревянного пистолета.

Но неожиданно вся моя скука развеялась. Грянул не просто сильный дождь, а какой-то тропический ливень с ужасной грозой! Что тут началось! Люди, сидящие за пределами шатра, стали панически жаться к тем, кто сидел в нём. Через мгновение вода потекла сквозь щели в брезенте прямо на стол. Официанты и «чекисты» не успевали палками выталкивать воду с провисавшего под её тяжестью полотна.

Сверкала молния, и вокруг грохотало так, что казалось, наш шатёр сейчас взорвется. Жутко и весело было, когда взрослые тыкали вверх палками и за твоей спиной обрушивались водопады.

И тут произошло нечто ещё более неожиданное. Уже сильно выпивший мой полный тёзка, всё громче говоривший тосты, вдохновенно возгласил: «А я, между прочим, больше доверяю беспартийному писателю Соболеву, чем партийному писателю Мариэтте Шагинян. Повисла гробовая пауза, люди за столом боялись пошевелиться. Честно говоря, я тогда ничего не понял, но по лицам сидящих вокруг ощутил, что произошло что-то очень важное и глубоко взволновавшее всех.

Дальше произошло невероятное. И Соболев, и Шагинян для начала схватились за сердце, затем — тоже почти одновременно — грохнулись в обморок, и их обоих в одной машине (шолоховском «ЗИСе») отправили в Кремлёвскую больницу.

Едва мастеров художественного слова увезли, дождь кончился. Все уже быстро пьянели, кто-то что-то ещё говорил… И тут сидящий рядом со мной генерал (потом мне отец сказал, что фамилия его была Московский) мне подмигнул и шепнул на ухо: «Пошли рыбку половим». Я с радостью согласился, и мы вышли из-под душного шатра.

У озера было свежо. С кустов капали крупные капли. Мы взяли у охраны лодку с мокрыми сиденьями, приготовленные для гостей удочки, червяков и отчалили от берега.

Только много позже я понял и оценил всю сюрреалистичность этой рыбалки. Рыба ловилась замечательно: золотистые карпы плюхались в ведёрко один за другим.

А чего стоило звуковое оформление нашей ловли! Всё, что улавливали шесть микрофонов за столом президиума — звон бокалов, звяканье вилок о тарелки, тосты, шёпот, бульканье наливаемых напитков, — висело над всей территорией гигантского парка, сказочным многократным эхом отзывалось, перемешивалось, наслаивалось одним звуком на другой. И среди всей этой фантасмагорической фонограммы выделялся громкий сердитый шёпот Нины Петровны Хрущевой: «Хватит тебе!.. Хорош уже!.. — Потом какое-то мычание, звук немой борьбы (видимо, за овладение бокалом) и оглушительный, как выстрел, стук вилкой или ножом по микрофону. «Товарищи!» — восторженно басил мой тёзка, начиная очередной тост …

А потом было обидное до слёз разочарование. Мы причалили к пирсу и передали из лодки полное ведёрко рыбы в уверенно протянутую руку охранника. А тот спокойно выплеснул весь наш улов обратно в озеро.

Дядя Миша

Иногда мне кажется, что мой дядька, родной брат отца, Михаил Владимирович Михалков, прожил за четыре года войны всё, что ему было отпущено прожить за жизнь. Его расстреливали три раза, он двенадцать раз бежал из немецкого плена. Был в Бресте в первый день войны, а потом он все четыре года шёл к своим…

Однажды когда дядька вёл меня из школы домой, мы с ним обходили яму. Он мне говорит: «Пойдём, пойдём быстрее». Я ему: «А что такое?» А он отвечает: «Яма мусорная, видеть её не могу…»

Когда мы пришли домой, я всё-таки уговорил его мне разъяснить, почему он так сказал. А случилось с дядей Мишей вот что.

В одном из концлагерей на Украине они вместе со своим другом — однокашником-грузином скребли тупыми деревянными ножами столы в лагерной столовой. Вдруг вошёл фельдфебель и что-то сказал по-немецки. А дядя Миша совершенно автоматически ему по-немецки ответил (в отцовской семье с детства хорошо говорили на этом языке). В лагере же было категорически запрещено скрывать то, что знаешь язык. И тогда фельдфебель доложил об этом нарушении. Немедленно прибежал и начал орать дежурный офицер.

Перепуганный дядя Миша делал вид, что ничего не понимает, а бедный грузин действительно ничего не понимал и только хлопал глазами. Ничего не добившись, дежурный офицер коротко приказал фельдфебелю: «Расстрелять обоих!» Фельдфебель вывел пленных к ограде лагеря, и они начали в мягком густом чернозёме рыть себе могилу. Пока рыли, дядя Миша всё ещё на что-то надеялся. Но когда яма уже была по грудь и выскочить из неё было невозможно, он тихо сказал грузину: «Прощай, брат, нас сейчас тут расстреляют. Прости».

У бедного грузина подкосились ноги, он чуть не потерял сознание. И тут откуда-то издалека раздался крик дежурного офицера: «Ну что, вырыли помойную яму?» — «Так точно!» — отвечал фельдфебель. Когда дядя Миша понял, что им повезло, он в невероятном счастье обнял своего грузина и радостно зашептал ему на ухо: «Ура! Это не могилу мы себе рыли, а яму для помойки». И тут произошло самое страшное. Грузин решил, что его просто жестоко разыграли. Он вырвался из рук дяди Миши, схватил острую лопату и со страшным криком со всего размаха хотел ударить товарища по голове. И тут раздался выстрел.

Грузин так и осел с поднятой над головой лопатой. Стрелял фельдфебель, который увидел, что происходило. Затем он выругался и помог обессилевшему Мише вылезти из ямы. И приказал засыпать тут же тело бедного грузина.

А новую помойную яму велел после обеда копать рядом.

Верёвочки

Как сейчас помню, стою с мамой в Столешниковом переулке в самой знаменитой кондитерской. Большая, вся какая-то белёсая тётка в белом халате укладывает в коробку из тонкого картона разнообразную «красоту». А «красота» эта слагается из двух «корзиночек» с вишенкой в середине, двух «картошек», эклера с заварным шоколадным кремом и белой глазурью сверху и многослойного «наполеона». Стою и глотаю слюни, кажется, уже сладкие, предвкушая неземное удовольствие. Наконец, белая тётка накрывает полную коробку белой крышкой и начинает завязывать бумажной бечевой. Но тут её кто-то отвлекает, она начинает разговор, автоматически продолжая затягивать всё новые и новые узлы.

Вот вяжет она узлы и вяжет, а я стою и ужасаюсь: «Мама дорогая, что же ты делаешь?! Вот принесём мы эту коробку, которую ты завязала, наверное, узлов на сорок, домой. И что?!

Казалось бы, возьми ножницы или нож, разрежь бечёвку, и всё — полный рот пирожного. Ан нет. Нам с сестрой и братом дома категорически запрещалось резать бечёвки и ленты, которыми были завязаны покупки и подарки. (Я помню, на кухне в буфете открывался ящик, и в нем лежали пробки, на которые были намотаны эти самые ленточки и бечёвочки). И вот ломались ногти, доставались иголки, чтобы всё это поддевать и развязывать. Для чего? Почему?! А потому что, как говорил Серафим Саровский: «Паче молитвы есть послушание». Это была для нас настоящая школа, урок терпения — всегда доводить начатое дело до конца.

Вот и развязывали мы эти верёвочки. За это время много чего передумаешь. Даже и пирожное есть порой расхочется, пока эту коробку развяжешь …

Детская вера

…Это мама.

Мы ежедневно читали утренние и вечерние молитвы и 90-й псалом «Живущий под кровом Всевышнего…», а каждый Великий пост, как и положено, перечитывали все четыре Евангелия.

Отец никогда этому не мешал. И не ехидствовал, мол, дома — православие, а на партсобрании — персональные дела за религиозные пережитки. Всё было поставлено таким образом, что мама, памятуя о высокой должности, которую отец занимал в иерархии системы, оберегала его от всего того в нашей жизни, что было связано с церковью. Когда приходил духовник, который исповедовал нас и причащал, отца, как правило, не было дома. И он никогда не вступал ни с кем в спор по поводу веры, хотя по всем остальным вопросам (коммунизм, Хрущёв, Брежнев) в семье случались «жестокие баталии»…

Мама (она была беспартийной) тоже никогда никому не навязывала своих воззрений в области религии. Всё шло само собой. У мамы был прекрасный вкус и замечательное чувство меры, которые гарантировали от пошлости.

Дома вера была в безопасности, но я знал, что для внешнего мира — это подполье. И когда я уходил в армию, и мой духовник подарил мне замечательный образ священномученика Никиты, я прятал его, зашивал в вещи. Было ощущение, что мир вокруг будто двоится. Я с ужасом думал о том, что папу выгонят из партии, а меня — из комсомола.

Ощущение постыдное, но оно было.

Я помню себя восемнадцатилетним на Пасху в храме Воскресения Словущего на улице Неждановой. Помню ужас от того, что мне даже в храме перекреститься было очень непросто.

Чувство страха усугублялось ещё и тем, что профессия моя — публичная, многое на виду. Мне это всегда мешало, особенно на службе, где и так довольно трудно бывает объяснить себе, особенно в молодости, зачем всё это делаешь — зачем стоишь на службе, молишься, читаешь Евангелие?

Конечно, со временем этот вопрос отпадает сам собой. Потому что каждый раз открываются совершенно невероятные вещи. И это всеобъемлюще: Господь даёт тебе именно в эту минуту услышать то, что является ответом на твой вопрос, и ты словно впервые слышишь те бесценные слова, которые, казалось бы, давно знакомы.

Скажем, после выхода новой картины искушения просто наваливаются. Вдруг в Евангелии от Матфея читаешь притчу о зависти: помните, работники в винограднике, нанятые хозяином последними, пришли получать плату за свою работу. И первые говорят: мол, как так? Мы работали с раннего утра, а эти последние работали один час, а получают столько же, сколько и мы. А хозяин им отвечает: «Не о том вы беспокоитесь, что я вам мало плачу, а о том, сколько я им плачу».